



J. CLEMENS

Новые вехи и русская государственность

<Фрагменты>

I

Интерес, вызванный «Сменой вех», и поучителен, и показателен в то же время. Этот интерес нельзя объяснить ни новизною и оригинальностью идеи, ни значительностью момента ее провозглашения. В советской публицистике, в речах ораторов красного лагеря, в целом ряде воззваний и обращений звучали уже неоднократно — правда, под сурдинку, правда, под стыдливым флером коммунистической словесности, — и национальные, и государственные ноты.

К тому же, наряду с апостолами новой веры, от поры до времени выступали и неофиты, вчерашние ее противники, перебежчики из другого стана. В их «новых» речах, «новых» мыслях, «новых» призывах — сознательно и бессознательно для них — звучали и старые мотивы, и давние напевы: они свою новую советско-коммунистическую веру сдабривали национально-государственными приправами, не потерявшими для них своего прежнего аромата. Так что, если новшество «Смены вех» состоит в приятии советской власти с патриотической точки зрения, если их оригинальность в том, что они Третий Интернационал освящают русской традицией, то в этом отношении их уже опережали и опередили другие. А самое главное, что образует стержень пражского сборника, было громогласно, с всероссийской кафедры, прокламировано, как *боевой лозунг дня и долг русского гражданина*, генералом Брусиловым, — лицом более значительным, чем авторы «Смены вех», провинциалы политики и слова. Ведь Брусилов — что гораздо важнее — выступил момент более значительный, более ответственный, чем нынешние серые будни советской «эволюции». Ведь Брусилов поставил вопрос о советской власти, как власти государственной, не в июле 1921 года, когда в Праге вышла из печати новая книга, а в июле 1920 года, в разгар

русско-польской войны, когда этот вопрос ярко вспыхнул красным полымем в напряженной обстановке, как проблема защиты России, как неотложное задание. Значит, и момент появления «Смены вех» не оправдывает ее успеха. Если же, однако, интерес к этому сборнику есть несомненный факт, то не причина ли в том, что на этот раз *свободное* волеизъявление части русской интеллигенции звучит в унисон официальной советской власти, *хотя эти оке интеллигенты так же свободно могли критиковать ее и противопоставлять ей свое инакомыслие*. Скажем откровенно. Не только на стогнах Петрограда и Москвы, но и в концентрационных лагерях России вы могли найти единомышленников, правда, не «Смены вех» в целом, но отдельных ее положений, и не только в июле 1921 года, не только июле 1920 года, но и раньше. Но они молчали.

II

В чем же особенность сборника «Смена вех»? Мы уже сказали: это есть подход к советской власти, к коммунизму, к III Интернационалу не с советско-коммунистическо-интернациональным мериллом, а с точки зрения национально-государственной, во имя России. При этом на сей раз этот под ход продиктован не априорным отрицанием, а готовностью принять *все*, что в интересах государства. «Сменовеховцы прежде всего патриоты, притом патриоты Великой России. Но в отличие от своих вчерашних соратников, сознательно или эмоционально отвергающих Советскую власть и все ею сотворенное, к ней причастное и с нею смежное, они готовы признать все, что может служить средством в борьбе за будущее родной стороны — *все*, значит и советскую власть, государственную власть России. Поэтому небесполезно дать оценку этому сборнику, исходя из тех же основных предпосылок, из коих исходят его авторы. Нужно проследить, в чем они последовательны и в чем непоследовательны, что логически вытекает из их мировоззрения, а что нахватано ими, присвоено, усвоено из копилки идей, чуждых национально-государственному мировоззрению. *Такое хватание, присвоение, усвоение налицо*. Не все ясно отдают себе отчет в том, что они могут не изменять старой своей вере, не приять новой, а лишь учитывают положение вещей, *как оно есть*, ибо «принять исторический факт — не раболепство перед силой». Учитывают и те средства, которые создала Великая Российская Революция не для всемирного торжества коммунизма и III-го Интернационала — это не входит в орбиту их зрения и меньше их интересуется, — а для того, чтобы двигать Россию по пути истори-

ческого преемства, т.е. по пути национального и государственного развития. А некоторые «сменовеховцы», особенно Бобрищев-Пушкин, иногда напоминают собою то адвоката в старо-русском боярском охабне, с фригийской шапочкой¹ на голове, размахивающего пролетарским флагом, то римлян времен упадка с их домашними Пантеонами², в которых Юнона³ и Моисей⁴, Аполлон⁵ и Бог Апис⁶, крокодил⁷ и домашние пенаты⁸ дружно пребывали под одной кровлей если не в мире и согласии, то неподвижно на своих местах в состоянии некоего недоумения⁹. Да, в нестойких или несколько хаотических умах староверов происходит какая-то странная аккумуляция, есть склонность к двоеверию, к униатству. Такой умственный гермафродитизм характерен для эпохи неустойчивого идейного равновесия. Все же центр проблемы не в униатстве, не в двоеверии, не в гермафродитах, а в том, *какая вера истинная* — старая или новая. И в этом сущность процесса, сущность вопроса, сущность личного, общественного, классового, государственного, общечеловеческого, быть может, самоопределения.

III

А все же было бы большой ошибкой думать, что авторы «Смены вех» просто пошли в Каноссу, что они отряхнули крах старого мира с ног своих и приняли символ новой веры. Несмотря на то, что в сборнике имеется даже статья с лозунгом «В Каноссу!» С.С. Чахотина, что А.В. Бобрищев-Пушкин так и окрестился в «Новую веру», все же вопрос о Каноссе, об интимной исповеди «сменовеховцев» в этом смысле требует пристального рассмотрения. Где носитель новых откровений Магомет, и где гора старого мира? Кто к чему пошел? В чем *Каносса*? И где она? Все это отнюдь не такие праздные и простые задания, чтобы не нужно было на них остановиться. Если бы все содержание «Смены вех» можно было исчерпать тем, что несколько активных деятелей белогвардейского стана, участников гражданской войны, признали, что ими эта война проиграна, а посему следует признать власть-победительницу, то вся эта книга не представляла бы собою большей ценности, чем обычный исторический протокол. Тогда вопрос об их пилигримстве в Каноссу был бы проще детской шарады. Но дело, ведь, не в этом. *Дело в их мировоззрении в настоящий момент.* Дело в том, что именно обанкротилось в их глазах, и кто банкроты. Под таким рефлектором «Смена вех» представляет отнюдь не детскую шараду.

Возьмем для примера Ю.В. Ключникова. Он принял революцию, советовластие, готов признать и многое другое, но каков ход его мыс-

лей? Вместе со старыми «Вехами» он вполне верно констатирует, что, по своему общему умунастроению, «русская интеллигенция была по преимуществу большевистская». Следовательно, думает он, вопрос о приятии революции есть «вопрос об обязанностях русской интеллигенции в отношении к самой себе, или — что то же самое — о *самоопределении интеллигентского большевизма через революцию*»*. Есть знаки равенства между интеллигенцией и большевизмом, между большевизмом и революцией. Что же? Ключникову дорога интеллигенция, как таковая? Да. Но дороги ли ему революция, большевизм, как таковые? *Нет*. Он хочет раз навсегда изжить большевизм, раз навсегда изжить революцию, чтобы в дальнейшем своем пути Россия больше не спотыкалась, не падала... «Пока существует такая русская интеллигенция, какова она сейчас, революция в России не может быть изжита. Изжить русскую революцию значит изжить прошлую и современную русскую интеллигенцию». Тщетно пытаться изжить русскую интеллигенцию, какова она есть, не проделав полного пути русской революции. Ю. В. Ключников отнюдь не собирается бороться за коммунизм, за социальную революцию, он надеется приятием русской революции освободиться от мировой революции, и этой ценой содействовать мирной и безболезненной эволюции. Он хочет бороться за Россию и ее великое мировое место: «нельзя бороться за Россию и ее великое место, не будучи вместе с русской интеллигенцией и русской революцией». Кто борется мечом или хитростями с русской революцией, тот «лишь вольно или невольно готовит ужасы мировой революции, которая, при спокойном торжестве революционной России, легко вылилась бы в мирную эволюцию». Ю. В. Ключников отнюдь не строит гороскопы на диктатуру пролетариата, на владычество коммунистической партии: для него приятие революции есть предпосылка для последующего русского либерализма... «Переделывая все, Великая Русская Революция впервые оказывается способной открыть пути *для яркого и могучего либерализма*, как после нее же впервые становится возможен *прогрессивный и устойчивый русский консерватизм*»... Своеобразный революционер Ю. В. Ключников, не правда ли? Он хочет раз переболеть до конца, чтобы и себя, и других избавить впоследствии от восприимчивости к заразе. Вот С. С. Чахотин — тот прямо признается, что внешние враги России вынуждают его принять неприемлемое: «Будь мы одни, не будь Россия окружена “друзьями” и врагами, конкурентами и хищниками, алчно пощелкивающими зубами и жадно ждущими

* Курсив в большинстве случаев наш.

ее последнего вздоха, будь в мире солидарность культурных наций, *мы, быть может, не звали бы к такому решению вопроса*», — так именно говорит автор статьи, озаглавленной... «В Каноссу!». Лидер «сменовеховцев» Н. В. Устрялов углубляет проблему, добирается до корня. Может быть, гора старого мира от сильных землетрясений, от вулканических взрывов заколебалась, зашаталась, даже оползла, но все-таки не она пошла к Магомету, а Магомет пришел к горе. *«Немедленный коммунизм не удался... Дело, в самой системе... Только в изживании и преодолении коммунизма — залог хозяйственной возрождения государства»*... И далее: «Во имя самосохранения советская власть принимает целый ряд мер к раскрепощению задавленных *великой химерой* производительных сил страны»... В очередных лозунгах советовластия мы имеем *экономический Брест большевизма*. «Чтобы спасти советы, Москва жертвует коммунизмом. Жертвует, по своей точке зрения, лишь на время, лишь «тактически», но факт остается фактом». Он устанавливает, что, завершившись, революция вернулась к исходным позициям: «змея жалила свой собственный хвост, превращаясь в круг — символ совершенства». Как старые итальянцы Вико¹⁰, Кампанелла¹¹, Макиавелли¹² в мировой истории, так Н. В. Устрялов в революции, видит «спиральное вращение», круговращение.

Старые формы ее всестороннего «углубления» еще продолжают некоторое время соблюдаться, хотя «дух, их воодушевляющий, уже исчез». Н. В. Устрялов мысленно проводит русскую революцию по извилистому, крестному пути Термидора. Термидор, — по его мнению, — не есть громкое происшествие, а *лишь изменение образа действий, «эволюция умов и настроений, перерождение тканей и преобразование душ и сердец, ее агентов»*. Термидор не эпохальная дата в календаре, не отчетливая, физически начерченная грань, а лишь вибрация неуловимых тонов и настроений. Он уже позади, — а вы могли этого не заметить. Он был, а вы, недогадливый, собираетесь ему на сретение. «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию», — так указал покойный Александр Блок, и об этом напоминает Ю. В. Ключников. Это есть, действительно, вступительный аккорд «Смены вех». «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте»... то, что следует после революции: так, если хотите, указал в своей статье «Patriotica» дирижер Устрялов, а это и есть господствующий, всепокрывающий мотив концерта, в котором участвует весь хор «сменовеховцев». В унисон с этим С. С. Лукьянов убеждает нас, что мы присутствуем при рождении... Русского Государства. Он полагает, что «начав с ни к чему не обязывающих, хотя, как потом выяснилось, давших положительные всходы в деле отстаивания

русских национальных интересов в международных отношениях интернационалистических, плохо к тому же понимаемых, лозунгов, *рабочие и крестьяне не только убедились на опыте в экономической необходимости единства России, но и нашли экономическую базу для расширенного до обще-русских пределов патриотизма*», прониклись национальным сознанием и т.д. И даже Бобрищев-Пушкин, в голове которого все сплелось в запутанный клубок понятий и мыслей, который создал себе какой-то своеобразный канон — *mixt*¹³ из взаимно-исключающих друг друга учений и вероучений, который взвинченностью эмоций и талантливymi словечками покрывает вместительную беспринципность, даже А. В. Бобрищев-Пушкин, уверяющий, что «кончится старый мир, ни более, ни менее», «что свободы — секрет авгуров», что Россия «от этой революции только выиграла», который ополчается против «святого права собственности», я он, в конце концов, самоутешается такими тирадами: «На собственности по-прежнему зиждется весь народный склад, весь быт России. Дележ приобретенного революционным путем, или, как стонут потерпевшие, «награбленного» имущества, происходит вполне на началах собственности»... «*Le roi est mort, vive le roi!*»¹⁴ Таким образом все образуется — в России будет «и частная собственность, частная инициатива, и торговля, и кооперация». Итак, авторы «Смены вех», даже авторы статей «В Каноссу» и «Новая Вера» не суть настоящие неофиты. Они лишь сгоряча наклеили этикетки Каноссы. Бели «Смена вех», повторяем, есть не один лишь протокол о признании фактов, не одно лишь сознание действительно ошибочной, а во многом злоуредной *тактики* белой гвардии, *если в этой книге есть известная идеология, определенная историософия*, и она все же основана на определенных идейных ценностях, на догматах исповедуемой веры, то это не Каносса, это не новообращение.

IV

В чем *пафос* «Смены вех»? Что дало главный толчок, вызвавший поворот от борьбы с большевиками всеми средствами, — в союзе с кем угодно, даже с самим «чёртом», — к признанию большевистской государственной власти? Как бы отвечая на этот вопрос, Н. В. Устрялов сразу, с первых же слов, вводит нас в своей статье *in mediae res*. Он говорит следующее. В 1905 году, в разгар русско-японской войны, группа русских студентов отправила японскому микадо телеграмму с пожеланием скорейшей победы над ненавистным *самодержавием*, и в том же году она обратилась к польским патриотам с пожеланием

успеха в борьбе с царским правительством во имя восстановления польского государства. Н. В. Устрялов, очевидно, не знает, что в том же 1905 году нынешний глава польского государства Пилсудский был в Токио и предлагал там японо-польский союз для осуществления... пожеланий русских пораженцев: для победы над русским правительством и для восстановления польского государства. Иначе, пожалуй, он не преминул бы упомянуть и об этом. «Прошло 15 лет, — продолжает Устрялов. — Капризной игрой исторической судьбы эта группа русских студентов, возмужавшая и разросшаяся, превратилась, — худо ли, хорошо ли, в русское правительство и принялась диктаторски править страной». Тогда другая группа русской интеллигенции стала отправлять в Токио к микадо и к Пилсудскому в Варшаву телеграммы и депутации с пожеланием скорейшей победы над ненавистным ей комиссародержавием, ради расширения польского государства и свержения русского деспотизма. Устрялов проводит параллель между пораженцами 1905 г. и 1920-го. Как те, так и другие различали русское правительство от русскою народа и русскою государства. И те и другие в свое оправдание ссылались на мировые причины: пораженцы 1905 г. на «солидарность мирового пролетариата», пораженцы 1920 г. — «на солидарность культурного человечества» и интересы «мировой культуры», которой угрожает большевизм. И далее: В 1905 г. нынешние пораженцы (т.е. противники советовластия) были активными защитниками отечества. Гений народа был с ними, несмотря на неудачи японской кампании. Пораженцы же 1905 и 1914 гг. стали теперь силой вещей активными защитниками отечества. И гений народа («оборонец» по инстинкту) перелетел к ним. Надолго ли? До тех пор, пока они активно защищают страну! Таков первый вступительный аккорд его статьи. Этот аккорд дает настроение всей симфонии «Смены вех». Он повторяется на разные лады решительно всеми головами, — всем хором согласно, — хором, который, вообще говоря, сам по себе далеко не согласован. Так Ключников заявляет: «не побоюсь сказать, исключительно изнанковым большевизмом можно объяснить себе тот факт, что Струве, упоенный Богом, величием государственной идеи и национальным пафосом, мог вдруг оказаться идеологом крымской эпопеи конца 1920 г.». Бобрищев-Пушкин полагает, что пораженческий патриотизм вводит нас «в самый центр спора». «По какому парадоксу истории, в самом деле, — вопрошает он, — интернационалисты делают дело патриотов, защищая Россию, а патриоты делают дело интернационалистов, желают, чтобы пришли англичане, поляки японцы, как выражаются в современном культурном стиле, «чёрт, дьявол»,

лишь бы свергнуть ненавистных большевиков... Интервенция дала уже страшные плоды. Потом они были бы неисчислимо страшнее». Бобрищев-Пушкин подчеркивает еще раз, что в этом *центр всюю вопроса, что в этом источник их убежденности, их пафос*, «здесь тот «домик паромщика», из-за которого месяцами бились великие армии». А далее следует подробный анализ событий русско-польской войны. И действительно. Та часть Польши, те польские партии, которые поддерживали Пилсудского, его поход на Киев, его союз с Петлюрой, стремились не к тому, чтобы побороть большевиков, а к тому, чтобы осуществить отделение Украины от России, осуществить лозунг о границах 1772 г.¹⁵, а главное, чтобы на востоке Польши не было столь грозной, необъятной русской державы. Бобрищев-Пушкин, правда, не знает, что не вся Польша, не все польские партии были солидарны с Пилсудским, с его войной, с Петлюрой, с идеей федерации, с стремлением расчленив Россию и т. д. Но факт Бобрищев-Пушкин констатирует верно. Он полагает, что единственной «патриотической позицией Врангеля было бы заявить, что перед внешним врагом прекращаются внутренние междоусобия», перед внешней войной — война гражданская. «Если Врангель не мог привести свою армию на призыв Брусилова, создав святой и великий *«русский праздник»* (по выражению проф. Устрялова) *примирения*, то должен был, по крайней мере, заявить, что ни один выстрел из Крыма не встревожит русскую армию, пока она не справится с напавшим врагом. Этой благородной позицией ген. Врангель дал бы бессмертный *пример патриотизма, на который ссылались бы будущие поколения при так часто возникающем конфликте внутренней политической розни с общей защитой отечества*». «Соединенными усилиями врангелевской армии и русских публицистов удалось добиться хороших результатов: не только была спасена Варшава, но Польше еще удалось захватить Рижским миром кусок русской территории».

И эту же мысль подчеркивает Чахотин: «Это только мы сами, русские, в лице Врангеля могли в момент, когда красная армия громила поляков, ударить ей в тыл и, *спасая Польшу, предать свое собственное русское дело*. История уже отомстила Врангелю за его близорукость».

Для всех сподвижников Н. В. Устрялова стало совершенно ясно, что с известного момента, по крайней мере, все русские союзники тех чужестранных войск, которые врезывались в русскую землю, стояли на типично пораженческой позиции. Они поняли, что *белые патриоты, ходом событий превратились в таких же пораженцев, какими были многие русские интеллигенты вовремя русско-японской*

войны, какими были кинтальцы¹⁶, циммервальдцы¹⁷ интернационалисты, большевики, Мартовы, Сухановы¹⁸, проповедники «братания» «на фронте и т. п. в последней великой войне. И сознав это, они также поняли, что пораженцем идейно может быть, — если хотите, морально вправе быть — коммунист, анархист, интернационалист и последователь всякой другой внегосударственной, надгосударственной, международной идеи-догмы. Но им не должен быть, не в праве быть тот, для которого в центре всего и над всем стоит живая Россия, для которого Россия — цель, самоцель, а не средство. Наивно доверчивый, невежественный в вопросах политики, особенно внешней, международной политики, — русский интеллигент, да вообще русский человек не понимал, что для Ллойд-Джорджа, для Пилсудского, для членов японского Генро¹⁹ долг перед своей страной, перед своим народом, перед его будущностью, забота об интересах своего государства повелительно требовали: *использовать благоприятные обстоятельства для ослабления этого государства-колосса — России, для отторжения от него земель, для расщепления и расчленения России, для углубления гражданской войны и процесса распада.* Нельзя винить в этом ни Ллойд-Джорджа, вернувшегося к заветам Биконсфильда²⁰, ни Пилсудского, развернувшего план федерации Польши, Украины, Литвы, Белоруссии, Балтийских государств вокруг ядра — польского государства, ни вождей Японии, Румынии, Финляндии, и т. д., — нельзя винить в том, что они так понимают свои интересы. Но мог ли национально-мыслящий интеллигент быть их союзником? «Если бы английский министр защищал не интересы Англии, а России, он заслуживал бы свержения», — так говорит Бобрищев-Пушкин. Признаться, в этих словах, столь простых, нельзя не усмотреть симптома излечения русского интеллигента от его маниловщины, от его прекраснодушия, от его фраз о верности, о «верных союзниках», при полном отсутствии простого понимания того, в чем интересы, интересы и еще раз интересы свои и чужие — России как государства и государств чужих, антирусских. Поэтому если русские люди — патриоты защищали интересы не России, а Англии, Франции, Польши, Финляндии, Японии, Румынии, защищали с оружием в руках, защищали «самоопределение вплоть до отделения» под знаменами Петлюр, больших и малых, то что заслужили они? И в чем их заслуги перед Россией? Результаты больно бьют пораженцев-патриотов, больнее, чем они перед судом собственной совести могли бы бить пораженца-интернационалиста.

Во всяком случае Врангель, несомненно, заслужил себе памятник в Варшаве. Спор о том, кому собственно поляки обязаны по-

бедой, — гению ли Пилсудского, советам ли французского генерала Виганда²¹, — этот междупартный польский спор о лаврах может включить и третье имя — имя Врангеля. Пьедестал для памятника этому русскому генералу от благодарных поляков стоит готовый в центре Варшавы: фигура фельдмаршала Паскевича с него снята.

V

Не поразительно ли следующее совпадение. Именно у г. Струве в старых «Вехах», в статье «Интеллигенция и Революция», мы читаем: «Революция конца XVI и начала XVII века очень поучительна при сопоставлении с революционными событиями в России... «Смута» была не только социальным движением, не только борьбой за политическую власть, но огромным движением национально-религиозной защиты. *Без польского вмешательства великая смута 1598–1613 гг. была бы рядом придворных интриг и переворотов, чередующихся с бессильными и бессвязными бунтами анархических элементов тогдашнего общества. Польское вмешательство развернуло смуту в национально-освободительную войну*». И русским, и полякам полезно учесть то обстоятельство, что польское вмешательство и в современной смуте-революции сыграло такую же национализирующую роль в русском сознании. Это можно было констатировать летом 1920 г. в разгар русско-польской войны. Тогда национально-патриотические вибрации были весьма явственными и в коммунистическо-интернациональных речах, статьях, выступлениях, не говоря уже о призыве, который исходил от Брусилова. Биение национального пульса было тогда заметно. Этого зачастую даже стыдились, хотя по совершенно разным причинам, и белые, и красные, но оно было сильным. А. В. Бобрищев-Пушкин сообщает, что «когда к Варшаве стали подступать русские войска, то среди... офицерства (речь идет о русских белых офицерах, очутившихся в Сербии), среди рядовой беженской массы, далекой от съездов и политики, можно было видеть, как любовь родине берет верх над ненавистью к большевикам, как бьются русские сердца от сознания: — Это он! Это все тот же русский солдат! Он опять побеждает!». Польское вмешательство, как наиболее отчетливая форма интервенции, как выявление ее сути и цели, было понятнее, чем другие интервенции. Если русский человек в появлении англичан, французов, японцев на русской земле не видел еще скрытой войны Англии, Франции с Россией, — для этого нужно было преодолеть в себе многие чувства, — то борьба Польши с Россией была совершенно очевидной войной в обычном смысле

этого слова, — за земли. Вопрос о пораженчестве, этой оборотной стороне идеологии «отщепенства от государства», был поставлен. *Поражения самих пораженцев* осветили трагическими лучами весь крестный путь белых армий с этой, для них неожиданной, стороны. Патриоты-пораженцы превратились в партии утерянной грамоты, на которой начертан символ старой веры. Да, *идея патриотическая, идея национально-государственная — она трудная, идея, она не так проста. Она отвердевает, закаляется, становится идеей религиозной после трагических переживаний и испытаний.* Народы, отступившие от ее велений, страдают за свое грехопадение в чистилище и аду истории, чтобы потом молитвенно укрепиться верой в ее силу. И русская интеллигенция дорогой ценой окупает свое национально-государственное крещение. Не забудем, что, по выражению Струве, «идейной формой русской интеллигенции являлось ее безрелигиозное отщепенство от государства». Не забудем, что Достоевский в своей вечно-памятной пушкинской речи запечатлел русские особенности — скитальчество, беспочвенность, универсализм: то тяготение к «религии абсолютного народного счастья на земле» (по выражению Франка в «Вехах»), во всем мире, которая мешала русскому человеку, его уму и фантазии осесть в России, мыслить в ее пределах об ее интересах, о своих национально-государственных задачах.

Авторы «Смены вех» надеются, что отныне, после всего пережитого, русская интеллигенция будет иной, будет здоровой: «будущая русская интеллигенция, вышедшая из горнила русской революции, наверное будет такой, какой ее отчасти видели, отчасти хотели видеть авторы «Вех», — старых «Вех». Так говорит Ю. В. Ключников. И эти слова могут быть отнесены не к одной только интеллигенции. «Она войдет в народ, — читаем мы там же, — неотъемлемой частью и уже ни о каком ее отщепенстве не может быть потом и речи»...

«Конкретно это выразится в том, что русская интеллигенция уловит начало *мистического* в государстве, проникнется «мистикой государства». Тогда из внегосударственной, антигосударственной она сделается государственной». Для русского человека не существовало национальной догмы, ничто национально-государственное не было канонем, не было «табу». Нет, уроки истории не проходят даром. <...>

VI

Если в глазах «сменовеховцев» патриоты белого лагеря перед судом родной истории выступают в трагической роли *могильщиков-пораженцев поневоле*, — следовательно, виновников национальных

потерь и злосчастий, то в каком же разрезе им представляется *сама история русского государства, как таковую, в последние годы?* Как государственники par excellence, как национально мыслящие интеллигенты они не могут не отдавать себе отчета в *центральном* вопросе: *были-ли ши годы революции-смуты годами деградации России, упадка, распада, или, наоборот, в эти годы не произошло национально-государственной катастрофы* Ответить на этот вопрос значит: *отвлечься от всею комплекса внутренних социальных и классовых перемещений и перетасовок, отвлечься от проблемы власти и государственную строя, а на первом плане поставить вопрос о России, как некоей целостности, как самоценности, как государства.* В таком аспекте, уже тем одним, что вопрос поставлен, предрешается и определенный ответ на него. Если первая задача каждого поколения сохранять то историческое наследие, то национально-государственное достояние, которое ряды поколений потом и кровью, в повседневной жизни и трагической борьбе, творили и сотворили; охранять то, что в целокупности зовется родным государством, отечеством, Россией, то ведь очевидно, что нынешнее поколение было свидетелем, вольным и невольным виновником и соучастником растраты и ликвидации значительной доли этого достояния. Возможно, что тот или иной декаданс культуры, качественное понижение умственной и художественной жизни покрывается или будет покрыто демократизацией, количественным увеличением, введением масс в сферу умственных и художественных интересов. Деградация промышленности? Но она, промышленность, — дело наживное, детище всего нескольких десятилетий экономического прогресса. Ее материальный субстрат, — эти бездымные заводы, эти фабричные скелеты-остовы, эти вагонные кладбища все же таят в себе заколдованную мертвую материю, какие-то, пусть выведенные из строя, но все же наличные силы. Быть может, все будет восстановлено скоро внутренним усилием, приложением энергии, личной инициативы и капиталов, которые, хоть и иностранные, остаются, ведь, здесь, в России, на месте их приложения, их затраты. И, может быть, все же был прав Джон Стюарт Милль²², «что после разрушительных войн творческий процесс восстановления жизни идет весьма ускоренным темпом, что выздоровление после кровопускания приходит быстро».

Но как назвать на национально-государственном языке несомненный для данного дня факт, что Россия оттеснена от Балтийских берегов, к которым она подходила со времен Александра Невского²³, подходила и подошла не в силу прихотей царей и полководцев,

а по внутренне-необходимым, повелительным, законным требованиям истории государства российского и русского народа? Что заодно она лишилась не только того, что, как Царство Польское, могло и должно было образовать ядро иного организма, но и несомненных или необходимых частей своего тела, органически сросшихся с нею членов? Как наименовать такой баланс, по которому в общей сложности государство за короткий период времени подверглось такому быстротечному процессу отделений, отпадений, отсечений и отречений, какого не припоминает иная (кроме разве последних дней Австрии) история? Всего в четыре-пять лет утеряны десятками губернии, миллионами вчерашние граждане, тысячами важные в культурном, экономическом, стратегическом, национально-историческом отношении «пяди земли русской», «единой», «неприкосновенной», «неделимой».

Не в праве ли подрастающие на наших глазах дети, не говоря уже о более отделенных потомках, оскорблять современников «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом» за результаты такого расточительного образа действий? Участники «Смены вех», покаянноговорящие о своем пораженчестве, весьма болезненно чувствуют это сжатие, сокращение России. Для них «мистика государства» объемлет, включает «мистику территорий». «Глубоко ошибается тот, кто считает территорию “мертвым” элементом государства, индифферентным его душе, — размышляет Н. В. Устрялов. — *Территория есть наиболее существенная и ценная часть государственной души, не смотря на свой кажущийся “грубо-физический” характер.* Помню, еще в 1916 г., отстаивая в московской прессе идеологию империализма (sic) от наплыва упадочных вильсоновских настроений, я старался доказать “*мистическую*” в корне, но в то же время вполне осязательную связь между государственной территорией как главнейшим фактором внешней мощи государства, и государственной культурой, как его внутренней мощью. Эту связь я еще отчетливее усматриваю теперь. Лишь физически мощное государство может обладать великою культурой». Как видите, Н. В. Устрялов сокрушается не об одном только разрушении культурных ценностей за период войны всемирной и гражданской: *он усматривает, культурное разжалование в потере национальной территории.* Н. В. Устрялова, очевидно, отнюдь не утешает демократизация культуры распределение культурных благ и достижений в народе. По его представлению, невидимые руки выводят на скрижалях истории государств иероглифическое уравнение, по которому расщепление территории

адекватно падению государства, а упадку государства соответствует понижение культуры. Люди такого мышления, устоявшие против соблазна высокопарной проповеди прекрасного Вильсона, не преклонившиеся в первый период революции перед великодушной щедростью Чхеидзе²⁴ и Черновых за счет России («самоопределение вплоть до отделения»), эти люди, действительно, еще «отчетливее» вправе настаивать на этом своем положении именно ныне когда *перед* глазами развернулась упадочная картина «балканизированной»²⁵ средней Европы, и эта балканизация охватила целые полосы России. А если это так, то с точки зрения Н. В. Устрялова и «сменовеховцев» в последние годы совершился раздел российских земель, «первый раздел». России. Англия закрепилась на «английском» Балтийском море: она своими щупальцами охватила его в Ревеле и Свеаборге, в Риге и, заодно, в Данциге. Польша, а тем самым и Франция *viribus unitis*²⁶ докатились до Западной Двины. Румыния держит Бессарабию. Японцы на Камчатке, в Сахалине, во Владивостоке. Подушка России, на которой покоилась и должна покоиться ее голова, Петроград, лежит у самой границы: у изголовья страны — чужие пушки.

И перед сменовеховцами встают роковые вопросы. Первый раздел — будет ли он последним? Что сулит грядущий день, что скрыто в таинственном сумраке, несомненно, тревожной истории ближайших годов? Последует ли второй, за первым разделом, раздел, — быть может, отпадение Туркестана, Кавказа, Восточной Сибири, Украины, или же горькая чаша выпита до дна, и в гармоническом согласии, в общности и единстве срастутся ныне разрозненные, рассеченные части? Какова тенденция процесса, на наших в глазах столь бурно начавшегося? Впереди процесс дальнейшего государственного распада или же национальное возрождение? Такая напряженность внимания к этой важнейшей исторической проблеме логически приводит к мысленному выявлению наличных ныне в России *сил сопротивления и борьбы*. Создала ли все разрушающая революция силы для того, чтобы остановить стремительна начавшийся распад, чтобы твердой волей сказать — «отныне ни одной пяди», чтобы облечь плотью и кровью веру в то, что чудо воссоздания будет сотворено *непрерывно*? Тогда пусть эти новые силы проявляются в какой угодно форме, под каким угодно флагом, во имя какой угодно идеи: если не все равно, то это не имеет же первостепенного значения. Дело не в том, какой энергией заряжается исторический двигатель, лишь бы он работа на благо государства, лишь бы он служил основной своей задаче.

VII

Что именно так воспринимают историю «смуты»-революции авторы «Смены вех», что именно в этом они видят очередные дилеммы — это столь же ясно, как и то, что они окрылены верой в наилучшее, верой в Россию. Если бы гражданская война уничтожила *армию и власть*, Россия «стала бесхозной землей для колонизации»...» *Она бы погибла, как Тир и Сидон*» (А. В. Бобрищев-Пушкин). Теперь же «Россия собирается под красным знаменем». Будущее покажет, можно ли «побить козыри советской власти, или ими будет выиграна международная игра», во «вырвать их из рук России было бы со стороны русских патриотов политическим безумием». У русской государственности две трудные задачи — те, которые всегда стояли перед всякой государственностью: *сдерживать натиск извне иноземных сил*, сдерживать внутри натиск анархических центробежных сил. Справляется ли власть с этими задачами? Справляется. Значит — она настоящая государственная власть. Поддерживают ли ее противники эти две анти, государственные силы? Поддерживают. Значит, они являются противниками русской государственности» (Там же, стр. 147). Большевики сумели «и возродить армию. Свержение их, разумеется, связано с разрушением, но надежда на ее воссоздание крайне сомнительна. Что же, производить над Россией второй опыт разрушения ее армий? Но милые заграничным патриотам соседки России Япония и Польша ждать конца опыта не станут и захватят не только Киев и Владивосток. Да, вообще, все возьмут, что смогут... Красные разложили армию, потому, что она была белая, а теперь белые разложат ее, потому что она красная. *А что станется тем временем с Россией?*» (стр. 141).

«Сменовеховцы» убеждены, что русский больной организм вырабатывает сам противоядие, что силы восстанавливаются, ибо после каждой болезни «наблюдается появление новых сил, усиленный обмен веществ, оздоровление и укрепление». Но если бы даже не было уверенности в этом, то русская интеллигенция, мозг страны, «не имеет права стать в сторону и ждать чем кончится кризис: выздоровлением или смертью». Нужно считаться только с тем, «чего требуют от нас интересы родины». В чем же признаки выздоровления? Во-первых, история заставила русскую «коммунистическую республику», вопреки ее официальной догме, «взять на себя национальное дело *собираения распавшейся было России*, а вместе с тем восстановления и увеличения русского международного удельного веса». Другой положи-

тельный признак: советская власть (опять как будто вопреки теории) «была вынуждена создать крепкую дисциплинированную *армию*, первое условие существования всякого государства» (С. С. Чахотин). «И так как власть революции — и теперь только она одна — способна восстановить русское великодержавие, международный престиж России, наш долг, во имя русской культуры, признать ее политический авторитет» (стр. 57). И. В. Устрялов подробно освещает эту свою позицию. Своеобразным ходом истории жизненные интересы русского государства и устремления советской власти влились в одно и то же русло. «Советское правительство естественно добивается скорейшего присоединения к пролетарской революции тех мелких государств, что, подобно сыпи, высыпали на теле бывшей Российской империи. Эта линия наименьшего сопротивления... Горючего материала у них достаточно. Агитация среди них сравнительно легка. Разлагающий революционный процесс их коснулся в значительной мере». И. В. Устрялов не верит, чтобы самоопределившиеся «вплоть до отделения» окраины-государства безопасно процветали бок о бок с красной Россией. Принцип «самоопределения народов» — типичный «мелка буржуазный» принцип: существенные интересы всемирной пролетарской революции и лозунг «диктатуры пролетариата» находятся в разительном и непримиримом противоречии с ним». Поэтому «*советская власть будет стремиться всеми средствами к воссоединению окраин с центром* — во имя идеи мировой революции. Русские патриоты будут бороться за то же — во имя великой и единой России. При всем бесконечном различии идеологий, практический путь един»...

«Смена вех» обращает внимание на особенные дарования большевиков в роли собирателей России. Для этого достаточно, полагает Ю. Н. Петехин, указать на мало продуманный до сих пор факт существования в 1918–19 гг. «Туркестанской Советской Республики». «Абсолютно отрезанные от Москвы, окруженные со всех сторон войсками Колчака, Дутова, Деникина и английской оккупации, лишённые транспорта, топлива и хлеба, большевики в Туркестане сумели до конца, в течение полутора лет, сохранять власть в своих руках». «Русское влияние в Малой Азии, а отчасти и в Индии, русская радиостанция и русские военные инструкторы на «крыше света» в Афганистане — реальный факт, крупное историческое достижение России». Отсюда еще один шаг — и перед вами ключ к воротам Сезама. «Россия без всякого империализма; мирно осуществляет *мировые задачи* своей политики». «Одной из лучших шахматных комбинаций Ленина было опереться на Азию... Осуществлено объединение

с Афганистаном и Бухарой. Попутно ведется ожесточенная, склоняющаяся в пользу России борьба за влияние в Персии. Лорд Керзон в своей речи с огорчением признал, что вековая политика Англии в Персии рухнула, что Персия в руках большевиков». «Что касается Турции, то она из векового врага превращен Россией в друга, и какого горячего, какого верного друга» И так, с одной стороны «Турция, Персия, Бухара, Афганистан — это *путь в Индию*», и это даже «не империалистическое, а мирное завоевание», с другой стороны, «щ, кануне разрешения теперь — для России неразрешимый вопрос *о Константинополе и проливах. Так сами готова распахнуться перед нею Царьградские врата*». Как видите, «сменовеховцы» не только не поникли долу головами, но и поднимают очи горе. Выходит так, что отнюдь не все неблагополучно в королевстве датском, наоборот, все к лучшему в этом лучшем из миров. «Сменовеховцы» не удержались, чтобы не закончить гимном, чтобы не воскресить все свои похороненные этими же большевиками «имперпалистические» чаяния и надежды. Одна мысль, правда, *несколько* смущает этих энтузиастов на вершинах, куда они забрались, — это мысль о том, что было *вчера*: кем с той же национально-государственной точки зрения были большевики в период своего демонического нашествия на все эти великодержавные, национальные, «империалистические» традиции и устремления, в период, когда они яростно сжигали то, чему раньше поклонялись и поклоняются и теперь все неовехисты. Не будучи диалектиками марксизма, они не ухватываются за триаду: тезис-антитезис-синтез. А. В. Бобрищев-Пушкин лишь скороговоркой отмечает: «Большевизм обвиняется в том, что он внес анархию. Не будем ни спорить, ни соглашаться. Право, важно будущее, а не прошедшее. А в другом месте: «Нечего смотреть назад на отношения большевиков к прежней армии, — вперед надо смотреть». Их зато *вовсе* не смущает мысль о том, что советская власть, коммунисты, Третий Интернационал и их представители иначе комментируют и ход — событий, и задачи, и цели, иначе говорят по поводу всех указанных явлений. В этом отношении они очень считаются лишь со своими собственными словами, с тем, что они сами говорят, а не со словами тех, о которых речь идет все время. Суть действительно не в том, что говорят, а в том, что происходит на самом деле. Это Керенский думал, что историю говорят. Потом сообразили другие, что ее не говорят, а делают, но что для этого удобно заставить других молчать. Сменовеховцы же верят в колдовство слов, но лишь *своих слов*. Они хотят говорить, ввести не только в общее сознание, но в сознание столь недавних врагов свои магические заклинания, свои мессианские моления. Вытекает ли

их мессианско-интернациональная магия из требований реальной политики, из реального учета исторических сил в Европе, в Азии, в самой России? Вытекает ли она из положения реального мышления, что слова и иллюзии гибнут, а факты остаются, из сознания, что выше всего интересы России, или же это есть та вера, то *credo quia absurdum*, которое имеет *особые* психологические истоки и *особое* психологическое оправдание в той *особенной* обстановке, в которой очутилась Россия? Этот вопрос сам по себе заслуживает внимания. Он вводит нас в область идей и сложных, и опасных. Здесь уже налицо не только «мистика государства», но и особая «мистика» «Смены вех». Здесь мы переходим рубикон последовательности и попадаем в сферу неограниченных возможностей, в сферу «иррациональных» настроений. Здесь, наконец, в глубине скрыта мистика национально-кающейся мысли.

VIII

Если бы «Смена вех» ограничила себя тем кругом идей, в котором вращаются мысли о *совпадении очередных интересов русской государственности с очередными задачами советской власти*, — она бы не теряла под ногами почвы реальности. Не ускользнула бы также из-под ее ног и та национальная идеологическая почва, на которой ныне с трудом, рассудку вопреки, наперекор стихиям, «сменовеховцы» любовно хотят взращивать махровые цветы и другие злаки Третьего Интернационала. Если бы они, хотя бы в память старых «Вех», последовательно проводили мысль о том, что счастье и злосчастье не зависят всецело от внешних форм, от государственного устройства, от власти и от того, кто у власти, то они бы могли убедительнее призывать к «примирению», к «признанию» интеллигенцией советской власти. К тому же, на самом деле, проповедь в пользу «признания» советской власти интеллигенцией, хотя бы она могла быть логически вполне оправдана, как-то устарела, стала лишней, пожалуй, никчемной.

Но почему «Смена вех» перешагнула ту грань, за которой начинается такой туман, в котором нельзя уже разобрать, где правая, где левая сторона? Когда Н. В. Устрялов переводит на язык государственника древнее изречение: «несть власти, аще не от Бога», он по своему прав. Ибо для государственника, прямолинейного до самого конца, может быть, приемлема такая тирада: *«народное творчество многообразно, оно выражается, ведь, не только непосредственно в стихийных, анархических порывах масс, но и в той власти, против которой они направлены. Власть представляет собою всегда более веский*

продукт народного гения, нежели направленные, против нее бунтарские стрелы». Заметьте: власть вообще, всякая власть, всегда... Ибо «она есть, так сказать, «окристаллизовавшийся», уже осознавший себя народный дух, в то время как недовольство ею... должно быть признано обманом или темным соблазном страдающей народной души. Поэтому, и в оценке спора с бунтом против нее следует быть свободным от кивания на «народную волю». Эта икона всегда безлика или многолика». Но почему вслед за этим идет уже прославление власти, прославление ее форм — форм советского государственного строя, всей его конституции в целом, в которой, ведь, имеется, в числе прочих особенностей, подтверждение, что целью является уничтожение государственности, как таковой, как «буржуазного пережитка»? Такое прославление, очень зачастую самоуверенное, тем более странно, что оно не обязательно связано ни с основной идеей сборника, ни с основами старой веры. Дело в том, что людям определенной сущности нужно вытряхнуть из себя всю эту сущность, чтобы признать, вслед за «сменовеховцами», что не помешай никто большевикам, «с России брали бы пример остальные народы, у нее учились бы, ей завидовали бы» (стр. 48). Россия, видите ли, оказалась «настолько же впереди западных народов, насколько была сзади них». Мы узнаем интересные новости из уст «сменовеховцев» — новость именно в том, что она исходит из их уст: из других уст мы многое по этому поводу слышали. Оказывается, что та самая Россия, которую «мистик территории» Н. В. Устрялов находит в прокрустовом ложе с оттяпанными конечностями, с сокращенной культурной субстанцией, что она же, Россия, — ишь, куда шагнула... На ковре-самолете, в сказочных сапогах скороходах ушла так далеко на земном шаре, что куда до нее англичанке» и всей цивилизованной Европе. Неистовый А. В. Бобрищев-Пушкин захлебывается от восторга: помилуйте, «Россия сразу, в несколько месяцев Временного правительства, перелетела через все иллюзии демократического строя, которые Европа изживала более ста лет». Далее следует указанное уже выше измерение сделанного пробега: настолько же впереди западных народов, настолько был сзади, «а сзади»-то она была далеко, как известно. А затем: «Советский строй, внезапно возникший на развалинах Российской Империи во всеоружии, как Паллада из головы Зевса, ошеломил, спутал все теории, всю социологию, весь интеллигентский опыт». Правда, «сменовеховцы» не совсем выяснили, как это логически вяжется одно с другим. Россия очутилась уже «над бездной», и великое спасибо советской власти, что она «сохранила Россию». Да, «с того момента, как определилось, что советская власть сохранила Россию — советская власть оправдана, как бы основательны

ни были отдельные против нее обвинения». Но как же сие мыслимо? С одной стороны Россия спаслась от смерти, «сохранилась» у самой бездны, где не до жиру, быть бы живу, и ее государственная культура получила удар в самое нутро. Перед государством предстала альтернатива: *или* сохраниться в суровой и мрачной, как дух Петербурга, красной власти, *или же распасться в безграничной анархии, и тогда «оттает» на этот раз уже до конца, до последних глубин своих, государство российское*. (Н. В. Устрялов, стр. 60). А с другой стороны, в такой трагической обстановке: быть *или* не быть, да вдруг — такие гигантские успехи, такие сенсационные достижения! Нельзя, ведь, не призадуматься и над тем, что, очутившись так впереди всего мира со своей политической «надстройкой», перед которой ничто — «все свободы», она же безусловно очень даже оказалась сзади со своей «Экономикой», со своим как никак «базисом». Все это нуждается в разъясняющих глоссах, да еще будут необходимы весьма подробные *glossarum glossae*²⁷ к таким идеологическим декретам и вердиктам. Наша задача не спорить, а объяснить национально-государственную психологию этого «восторженного надрыва». Этот восторженный надрыв внутренне сцеплен с психологией мессианизма, с его мистикой особенного душевного уклада: *он сцеплен с мистикой национального грехопадения*.

IX

То душевное состояние, в котором пребывают «сменовеховцы», есть тот же характерный русский *максимализм*, который на оборотной стороне своей медали может иметь мессианскую подпись. Безнациональный, «революционный» максимализм, основанный на «народопоклонстве», на «религии осуществления абсолютного счастья на земле», *может* влиться, претвориться в максимализм мессианский. Мессианизм — тот же максимализм, перенесенный из лаборатории социальных опытов и вождедений в святыню национального духа и национальных устремлений. «Вехи», столь прозорливые в своем анализе интеллигентского максимализма, не досмотрели этой параллели. Даже некоторые из «Вех», наоборот, инспирировали в известной мере «мессианистов». «Неовехисты» же дошли до крайностей абсурда. Они слили, смешали максимализм и мессианство, даже не разобравшись и в существующих внутренних различиях, и в противоречиях. В этом максималистско-мессианском настроении невозможно удержаться даже на признании превосходства «истинно русских», истинно советских форм над «гнилым» западно-европейским парламентаризмом. Недостаточно даже

и то, что мы «впереди», слава Богу, да еще шагаем семимильными шагами. Максимализм, пришпоренный мессианскими предчувствиями, мистическим взлетом в заоблачные пространства неограниченных возможностей, — такой максимализм не удовлетворится реальным, измеримым, осязаемым, тем, что «наше — лучше», что «мы — впереди», ибо это все относительная, сравнительная степень, это соизмеримо. Он должен довести до «предела, его же не преjdeши», до эсхатологического конца. «Сменовеховцы» не удержались. Они, поднявшись на пророческие вершины, увидели сразу, что именно теперь Россия, логике вопреки, в «рабском виде», обессиленная, обедневшая, укороченная, осуществляет веками неосуществленное, достигает максимума своих национальных и исторических устремлений и вождедений, — словом, завершает свои важнейшие и конечные задания. Мало того, что «сами готовы распахнуться перед ней Царьградские врата», — она проникает в Индию, реализует то, о чем лишь *мечтал* «в союзе с Александром I-м Наполеон». «Коммунисты являются знаменосцами будущей жизни, трубачами объявленной социальной борьбы», и это даже совершенно «независимо (?) от их концепций будущего социального строя». «За это их ненавидят, за это любят». Но что такое коммунисты? — это, видите ли сама Россия, «за это ненавидят и любят Россию». «Россию, ставшую во главе этого лагеря, которому суждена победа, ибо *он будущее*, а официальная Европа — *прошлое*» Тожество это — Россия и коммунисты, оказывается, и вводит нас в царство Мессии, благодаря ему исполняются времена и сроки. «С Востока вновь сияет свет — русский народ в «рабском виде», в муках неисчислимых страданий, несет своим измученным братьям всемирный идеал — из-за них любим, ими обновлен и чист во всей бездне своего падения, ими в своем унижении могуч»... Стоит вместе с А. В. Бобрищевым-Пушкиным забраться на этот мессианский Синай, ибо там он вовсе не одинок. Прежде всего обратите внимание, что не пролетариат, во исполнение пророчества Маркса, а русский *народ*, во исполнение других памятных пророчеств, выступает в роли мирового «богоносца». Во-вторых, этот русский народ достиг *бездны своего падения* и — *чист...* Он могуч, униженный, он, значит, могуч своей слабостью, силен слабый... Еще один шаг, и перед вами Вознесение Господне: «ибо подлинно Светлого Христа видел под знаменем Русской Революции А. Блок» — свидетельствует Ю. И. Потехин.

«Сам Булгаков верит нерушимо в русский народ и Христа, пребывающего с этим народом вовеки; а, значит, и в кровавом разливе революции, и в хулиганском кощунстве внешнего безбожия». «Нет нужды доказывать национальную типичность внешних форм революции — она очевидна каждому вдумчивому наблюдателю. В ужас-

ности этих форм одни хотят усматривать не проявление народного духа, а результат инородческих влияний, коими они объясняют и всю революцию; другие из разрушительности, дикости и безобразия отдельных фактов революции делают вывод о дикости и аморальности народного духа. Мы не пойдем за ними. *Мы знаем, что чем выше в небо уходят хоры, тем глубже и обрывистей пропасти... Знаем, что глубина моральною падения, которую легко найти во множестве эпизодов революции, — только обратная сторона неудовлетворенности высочайших нравственных запросов, которых не пытался разрешить и даже не ставил себе никогда ни один другой народ Европы»*... «Его убить надо... он в Бога не верит», — говорят каторжники у Достоевского. Тут *вершины и пропасти* русской природы: убивать можно, а верить в Бога должно... Не только внешними формами, *внутренними своими достижениями, глубоко национальна русская революция»* (174). Как тут не вспомнить Достоевского Шатова: «Народ — это тело Божие»... «Я верую в Россию, я верую в православие, я верую в тело Христово. Я верю, это новое пришествие совершится в России» — «Если русский народ не верует, что в нем одна истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что один способен и призван всех воскресить и спасти своей истиной, то он тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ». — «Единый народ «богоносец — это русский народ»... Если Достоевский, действительно, не только бытописатель, ообразитель современных ему Ставрогиных²⁸, Верховенских²⁹, Шигалевых³⁰ и Шатовых³¹, а пророк грядущей русской революции, то Шатов есть такое же предвосхищение и предчувствие, как и те, одновременно и параллельно с которыми он, Шатов, обречен выступать в истории, как он выступает в художественном видении. Шатовы психологически синхронистичны Верховенским, Шигалевым и Ставрогиным, революционерам, максималистам.

Х

В русской природе, в русском славянофильстве, в русском максимализме покоились залежи мессианско-мистических обетований, — это давно известно. Неясно, быть может, другое. Как максимализм, так и мессианизм, с виду дерзающие осуществить наитруднейшее, *все*, даже неосуществимое, овладевают душами не от полноты сил и не в периоды полного здоровья и расцвета. Они суть психологические проекции временного или длительного слабосилия, слабости, упадка, падения, реальной невозможности добиться осуществления более

простых и вполне естественных стремлений. Трудно, действительно, открыть те подпочвенные жилы, которые соединяют «сменовеховские» залежи восторга с их же глубоко пессимистическим по существу своему балансом России, как государства, за последние 5 лет. *Между тем их мессианская мистика есть, как мы уже говорили, мистика национальной грехопадения, т.е. она есть иррациональный, ирреальный вывод из пессимистического национального баланса.* Народ русский чист во «всей бездне своего падения», он «в своем унижении могуч», он Христос «в хулиганском кощунстве внешнего безбожия». Значит, как никак, в национальном балансе имеются: «падение», «унижение», «кощунство», «безбожие». Как возможна эта совместимость нищенских итогов *realifer* с одновременным сказочным «богатством»? На это так же трудно ответить в области психологии, как трудно ответить в области подсчетов на другой вопрос: как это мы очутились «впереди» Европы на столетия, когда мы, в действительности, в экономике, в транспорте, в культуре отстали от нее еще больше, чем раньше отставали? Объяснить, почему эти два крайних полюса пессимизма и восторженной веры сливаются в душах «сменовеховцев» в нечто мистически сцепленное и слитное, необходимо. Ибо только поняв это, мы поймем и многое другое. Мы поймем, где, когда и как они покинули последовательное мышление, неожиданно сделав прыжок из царства необходимости учета фактов и реальностей в сферу свободы фантазии. Узнаем, где именно, на каком пункте, они потеряли под ногами национальную и государственную почву в облаках коммунистических, интернационалистических, социально-революционных испарений. Поймем, почему их мессианство, несмотря на его и национальные, даже славянофильские корни, должно было превратиться в какой-то пестрый букет, в котором, вместе с национальными, связаны воедино опьяняющие цветы и растения Третьего Интернационала не то красной, не то трехполосной лентой. Ключ к этому пониманию мы находим в той же «Смене вех». Нужно весьма внимательно прочесть их относящиеся к этому строки. *«Первая революция, не стоившая и тысячной доли тех жертв, что вторая, и все-таки довольно много давшая, очень многим морально подрезала крылья... Великий народ не может безнаказанно нести тяжесть жертв неискупленных, ему невыразимо мучительно от их сознания. Так как же должен страдать этот великий народ после неисчислимых жертв теперешнего лихолетия, если ценою их он не достигнет великих, всеоправдывающих результатов? Хватит ли у него в дальнейшем моральных сил снести бремя собственного осуждения и осуждения других народов? Способен ли он будет дальше жить в ясном созна-*

нии, что он преступник, негодяй, идиот, разрушивший все, не будучи ни пьяным, ни одержимым, и взамен... ничего, решительно ничего? Невольно или нарочно? — но над этой стороной вопроса о срыве революции все вообще избегают задумываться. У приверженцев идеи борьбы с Лениным до конца и во что бы то ни стал *откуда-то берется уверенность, что русский народ, обесчестив и затем разрезав на куски мертвое тело матери своей России, спокойно утрет пот с лица и примется за очередные дела, как будто ничего не случилось*» (36). Так вот в чем дело!.. *Мессианское вспрыскивание морально необходимо погрязшему в греховности народному телу.*

XI

Каждый народ, переживающий временный ила длительный упадок своей государственности или культуры, по-своему «виновен». В нем самом, в его же истории, в созданной им же государственности, в сотворенной им культуре — важнейшая причина как упадка, так и ренессанса. Поразительно, однако, что непосредственно после свежей, болящей национальной катастрофы рождаются не одни бичующие и негодующие слова, но и идеология самоутешения и отпущения грехов, мессианское *per aspera ad astra*³². Так было в древней Иудее, в процессе своего падения, в горниле унижений создавшей поразительную концепцию «избранного народа», народа — Мессии, народа для мессианских предначертаний. Еще отчетливее мы видим это в истории Польши. Польша погибла прежде всего по «вине» поляков, в результате роковых особенностей польского исторического развития. Причина падения заключалась в самих поляках. «Не границы и не соседи, а только внутренний беспорядок довел поляков до потери политического существования», — говорит польский историк М. Бобржинский³³. Между тем раньше, чем польская историческая наука объявила такой приговор, прошло почти столетие. Не говоря уже о поэтах и романистах, апофеозировавших старую греховную Польшу, две исторические школы Нарушевича³⁴, а затем Лелевеля³⁵ в течение почти всего XIX-го века, до 80-х годов, «обнаруживание общих пороков народа считали кощунством и марианьем собственно гнезда», «оправдали падение и все несчастья свалили на другие государства», говорили об «особой стати» Польши, об ее избранничестве, о ее мессианском обете. «Это было уже полное безумие, тем не менее в известные, правда, болезненные моменты, которые поляки переживали в последние времена, безумие это становилось почти всеобщим. Подхваченное крыльями поэзии, оно довело до наимено-

вания Польши Мессией народов», — так говорит польский историк М. Бобржинский — *много лет спустя после польского национального грехопадения*. Те поколения, которые воочию видели деяния польского «матереубийства», которые своими глазами взирали на поляков-могильщиков Польши, породили мистиков Гене-Вронского³⁶, Мицкевича³⁷ и Товьянского³⁸, создали миф о Польше — Христе, о «распятом народе» — Мессии, о народе богоизбранном, о народе «богоносце». Значит, есть известная закономерность и в сфере заоблачных парений. Англия, Франция, Германия эпохи полноты здоровья обходились без эсхатологического мессианства опьянения, в Германии, раздробленной и слабой, в Германии начала XIX-го века и дней нынешних, мистика, романтическое мессианство и имели или могут иметь адептов. Значит мистика «Смены вех» есть не только простое отображение видений, которые они, авторы «Смены вех», якобы видят в пророческом экстазе, а того, что они же констатируют в трезвые моменты, — она *есть кривое зеркало национально-государственного упадка*. Вот объяснение, а следовательно и оправдание их мистики, их мессианства. Психологически эта мистика и мессианство призваны ободрить, окрылить, поднять народ, внушить ему «героическими мерами» перу в себя, в свои духовные и физические силы. Тем не менее необходимо самым решительным образом вскрыть и ту фальшь, и ту опасность, которые таятся в специфической «сменовеховской» мистике, в их лжемессианских вещаниях. Может быть, авторы «Смены Вех», наподобие Ильи-пророка, вознеслись вверх, в небо, в огненной колеснице национального духа, но, оторвавшись от земли, они попали в интернационально-коммунистический циклон и закружились в нем и завертелись безнадежно. Они и не Шатовы, и не Шигалевы, и менее всего Верховенские, но от каждого из них взято «нечто», и получились и фальшь, и лжепророки. И духу нации, и Третьему Интернационалу их пророчества, поэтому, одинаково чужды и опасны. Опасность? Да, опасность весьма осязательна с национально-государственной, следовательно, все же «сменовеховской» точки зрения.

Подобно тому, как огромные пространства России сделали русского человека, в отличие от немца, француза, поляка, совершенно «нечувствительным» к потере каких-нибудь там 2-х или 3-х губерний, так необъятная ширь максималистских, мессианских и т.п. ожиданий и устремлений сделают его столь ль нечувствительным к реальному положению России, к действительному развитию событий к конкретным интересам, интересам и еще раз интересам своего государства. В самом деле, стоит ли волноваться из-за пустяков, из-за очередных затруднений, неудач или потерь, когда тут и Индия, и Царьград,

и град Божий на земле, и все через Россию и народ русский? Россия отнюдь не так счастлива, чтобы спасти весь мир, но она еще отнюдь и не так несчастна, чтобы спастись дурманом «мессианства», ослабляющим ясность ума, твердую память. Россия жива. Она действительно «вздернулись» на дыбы над самой бездной, но ей не нужны цветы бездны. В ней, правда, не оказалось гражданских и государственных спаек и связей более культурных народов мира, но инстинкт самосохранения и простейшие инстинкты государственности в моменты величайших испытаний победили анархию и самоуничтожение. Да, не добродетели высшего порядка, а лишь достоинства организмов не-аристократических, не «породистых» сыграли спасительную роль. Это не значит, что народ или государство могут пребывать в состоянии «вздернутости» дольше одного исторического мгновения, но все же воля к жизни *вовремя* сказались. То обстоятельство, что именно сами разрушители, сами бесгосударственники, сами идеологи изживания государства впоследствии оказались основоположниками новой российской государственности, — что среди развалин, в хаосе анархии, именно они сами, а не их противники «образумили» и «образумились», может служить лишь подтверждением оптимистических гороскопов. Значит, государственные стимулы и инстинкты глубоко вкоренились в глубины народа, если даже в тех, кто этого ни осознать, ни признать не хотел, они могут воскреснуть. Вообще говоря, есть много оснований, как внутренних, так и внешних, для того, чтобы, пользуясь параллелями и поучительным опытом павших государственных (Австрии, Польши, Турции), *все же твердо и реально обосновать и возможность, и близость общего выздоровления России*. Необязательна вовсе «особая статья», конечно, чтобы в нее можно было только верить, да и «только» верить не приходится. Организм и жив, и жизнеспособен. Но от реальной государственной жизни, от национального выздоровления и даже крепости здоровья, от национальной веры в свое будущее, в свои творческие силы и свое возрождение — до мессианского «чуда», до мистических самолетов-быстроходов, до пришествия Христа, осуществляющегося именно в святой Руси и именно в наши дни, — дистанция огромнейшего размера.

XII

Да, интеллигенция перестала бы быть интеллигенцией, если бы она, озлобленная, внушала народу; ты — «преступник, негодяи, идиот, разрушивший все». Это верно. Интеллигенция в национальном организме призвана вырабатывать ту идеологическую эмульсию,

которая без любви народу — яд, с любовью же к нему преподнесенная — целебное средство. И это верно — такова социальная и национальная функция интеллигенции. Психологически можно уразуметь поэтому, почему эта эмульсия в критический момент национального бытия взвинченными, растерявшимися врачевателями из «Смены вех» преподносится «больному человеку», нынешней России, в мессианских, чрезмерных, угрожающих потерей сознания и здоровой памяти дозах. Они, «сменовеховцы», правы лишь частично, когда они думают, что русская интеллигенция осмыслит, поймет, оправдает деяния своего народа не только в дни государственной силы, но и в дни слабости России. Да, вопреки предположению многих, наперекор настроением периода «разлада», периода очной ставки между «народопоклонством» интеллигенции и «революционным» народом, она, эта интеллигенция, не будет обращаться с народом и к народу, как с «матереубийцей». Наоборот, мы неизбежно войдем в полосу неонародофильства, иного по своей природе, чем старое изжитое народничество и народопоклонство, без идолопоклонства, без опрощения, без подчинения государственности и культуры, Бога и морали «воле народа». Последнего не будет. Но без народолюбия была бы вытравлена сама душа из идеи нации и из национального чувства. И есть проникновенность в следующих словах Нестора Котляревского³⁹, попутно, по другому поводу сказанных им недавно: «Всякое суждение о народной душе, высказанное в наши дни, будет либо чисто эмоциональным откликом на события, дня — и тогда это суждение будет осуждением народа, либо опять мечтой, надеждой, чаянием, которым мы придаем форму идеологическую... Но надо помнить, что вся судьба наша, судьба как нации, так государства, как культурной силы, зависит от того, какую долю золота хранит душа народа, и как мы сумеем это золото чеканить. Если нам не суждено погибнуть, нам неизбежно придется еще раз пройти через полосу нового народничества, стать народолюбцами, какими были наша деды и отцы. В противном случае, всякое наше злобное чувство по отношению к народу обернется на нас же самих»*.



* Летопись Дома литераторов. № 3. 1921 г.: «Народная поэма и ее герой».